

Господин Паран / рассказ

Category: Heкаýalar, Kitарсу

написано kitарсу | 23 января, 2025

Господин Паран / рассказ ГОСПОДИН ПАРАН

I.

Маленький Жорж ползал на четвереньках по дорожке, сгребая песок в кучки. Он собирал его пригоршнями, насыпал пирамиды, а затем сажал на верхушку листок каштана.

Сидевший на садовом стуле отец не спускал с него внимательного, любовного взгляда ч никого больше не видел в небольшом сквере, полном народа.

По всей круговой дорожке, которая проходит перед бассейном и церковью св. Троицы и огибает газон, как щенята, резвились ребятишки: равнодушные няньки тупо глядели в пространство, а матери разговаривали между собой, неусыпным оком следя за малышами.

Степенно прохаживались парами кормилицы, распустив по спине длинные разноцветные ленты своих чепцов, неся на руках что-то белое, утопающее в кружевах; девочки с голыми икрами, в коротких платьицах вели серьезные разговоры, а потом снова принимались катать обруч; сторож в зеленом мундире расхаживал среди детворы, непрестанно обходя песочные постройки, боясь наступить на ручонки, разрушить муравьиную работу этих крошечных человекоподобных личинок.

Солнце садилось за крышами улицы Сен-Лазар и бросало длинные косые лучи на эту нарядную шаловливую толпу. Каштановые деревья вспыхивали желтыми отблесками, и три фонтана перед высоким церковным порталом, казалось, струили расплавленное серебро.

Г-н Паран смотрел на Жоржа, сидевшего на корточках в песке; он с любовью следил за каждым его жестом, мысленно сопровождал поцелуем малейшее движение сына.

Но, подняв глаза к часам на колокольне, он увидел, что запаздывает на пять минут. Он встал, поднял ребенка, отряхнул

пыль с костюмчика, обтер ему руки и повел к улице Бланш. Он торопился, чтобы попасть домой раньше жены; мальчик, не поспевая за ним, бежал вприпрыжку.

Тогда отец взял его на руки и, еще ускорив шаг, тяжело дыша от напряжения, стал подыматься по идущему в гору тротуару. Это был человек лет сорока; он уже поседел, начинал полнеть и с виноватым видом носил свое сытое брюшко, брюшко благодушного человека, которого жизнь сделала робким.

Несколько лет тому назад он женился на нежно любимой девушке, а теперь она обходилась с ним резко и свысока, как самовластный тиран. Она придиралась к нему непрестанно и за то, что он делал, и за то, чего не делал, язвительно допекала за каждый шаг, за все его привычки, за самые скромные удовольствия, за вкусы, манеры, жесты, за полноту его фигуры и невозмутимый тон голоса.

И все же он еще любил ее, но гораздо больше любил ребенка от нее, трехлетнего Жоржа, который был главной заботой и радостью его души. Он жил, нигде не служа, на проценты со скромного капитала, дававшего ему двадцать тысяч франков годового дохода; жена, за которой он не взял приданого, постоянно возмущалась его бездельем.

Наконец он дошел до дому, поставил ребенка на нижнюю ступеньку, вытер пот со лба и стал подыматься по лестнице.

На третьем этаже он позвонил.

Дверь открыла старая нянька, вырастившая еще его самого, одна из тех старых служанок, которые становятся деспотами в семье. Он с тревогой спросил:

— Барыня дома?

Служанка пожала плечами.

— Да где ж это видано, чтобы наша барыня была дома в половине седьмого?

Он ответил смущенным тоном:

— Ладно, тем лучше, по крайней мере, успею переодеться: мне очень жарко.

Нянька посмотрела на него с возмущением и презрительной жалостью.

— Вы, барин, я вижу, вспотели; торопились, несли, верно,

мальчика, а теперь изволь дожидаться барыню до половины восьмого. Нет, я ученая стала, не спешу управиться вовремя. Обед будет к восьми; ничего не поделаешь, придется подождать. Нельзя, чтобы пережарилось жаркое.

Г-н Паран сделал вид, что не слышит. Он пробормотал:

– Ладно, ладно. Надо вымыть Жоржу руки, он делал пирожки из песка, а я пойду переоденусь. Скажи горничной, чтобы как следует почистила мальчика.

И он прошел к себе в спальню. Там он сразу заперся на задвижку, чтобы остаться одному, совсем одному, совершенно одному. Он уже так привык к дурному обращению, к попрекам, что чувствовал себя в безопасности, только закрыв двери. Он даже не смел думать, размышлять, рассуждать сам с собой, если не был уверен, что от взглядов и придилок его не охраняет замок.

Присев на стул, чтобы немножко передохнуть перед тем, как надеть чистую рубашку, он подумал, что Жюли становится настоящей грозой в доме. Она ненавидела его жену, это было очевидно, но в особенности ненавидела его товарища, Поля Лимузена, закадычного его приятеля в годы холостой жизни, а теперь оставшегося близким другом и своим человеком в семье, что случается довольно редко. Как раз Лимузен служил буфером в его ссорах с Анриеттой и всегда защищал друга, даже очень горячо, очень смело от незаслуженных упреков, от злобных нападок, от всех невзгод его каждодневного существования.

Но вот уже с полгода, как Жюли позволяла себе недоброжелательные замечания и колкие намеки по адресу хозяйки. Она постоянно осуждала ее и заявляла двадцать раз на день: «Будь я, барин, на вашем месте, не позволила бы я, чтобы меня так водили за нос. Но в конце концов, что же... каждый живет по-своему».

Раз даже она надерзила Анриетте. Та смолчала и только вечером сказала мужу: «Имей в виду, при первой грубости я сама выставлю ее за дверь». Однако казалось, она опасается служанки, хотя обычно не боялась никого, и Паран приписывал ее сдержанность уважению к женщине, которая его вынянчила, которая закрыла глаза его матери.

Но пора было положить этому конец, так дольше продолжаться не

могло, и он приходил в ужас при мысли о том, что неминуемо должно было случиться. Как ему поступить? Рассчитать Жюли – этот исход казался настолько нежелательным, что он и думать о нем не хотел. Встать на ее сторону против жены также было невозможно; однако самое большее через месяц отношения между ними обеими станут нестерпимыми.

Он сидел, опустив руки, вяло подыскивая способ все уладить, и ничего не мог придумать. Наконец он прошептал: «Какое счастье, что у меня есть Жорж... Без него я совсем бы пропал».

Затем он подумал, что надо посоветоваться с Лимузеном, и совсем было на этом успокоился, но, тут же вспомнив о неприязни, зародившейся между старой нянькой и его другом, испугался, как бы тот не посоветовал прогнать ее; и опять им овладели сомнения и тревога.

Пробило семь, он вздрогнул. Семь, а он еще не готов. И вот, торопясь, отдуваясь, он разделся, вымылся, натянул чистую рубашку и поспешно оделся, словно в соседней комнате его ждало событие чрезвычайной важности.

Он вышел в гостиную, радуясь, что больше ему опасаться нечего. Мельком заглянув в газету, он подошел к окну, посмотрел на улицу и опять сел на диван; открылась дверь, и вбежал его сын, умытый, причесанный, веселый. Паран схватил ребенка на руки и принялся страстно целовать. Сперва он поцеловал его в волосы, потом в глаза, потом в обе щеки, потом в губы, потом в ладонки, потом, вытянув руки, стал подбрасывать до потолка. Наконец сел, усталый от такого напряжения, и, посадив Жоржа верхом на колено, начал его «катать на лошадке».

Мальчик в восторге смеялся, размахивал ручонками, радостно вскрикивал, и отец тоже смеялся и вскрикивал от удовольствия, так что трясся его толстый живот; он забавлялся больше сына.

Он любил его всем своим сердцем, сердцем доброго, слабовольного, покорного, обиженного человека. Он любил его с безумными порывами, с бурными ласками, со всей застенчивой, затаенной нежностью, не нашедшей выхода, не излившейся даже в первые дни его брачной жизни, ибо жена всегда была с ним суха и сдержанна.

Тут в дверях появилась Жюли, бледная, с горящими глазами, и

заявила дрожащим от раздражения голосом:

– Половина восьмого, барин.

Паран бросил на часы беспокойный, виноватый взгляд и пробормотал:

– Правда, половина восьмого.

– Вот теперь у меня обед готов.

Предвидя бурю, он попытался ее предотвратить:

– А ведь когда я пришел, ты, кажется, говорила, будто раньше восьми не справишься?

– Раньше восьми!.. Да что вы, в самом деле! Не морить же ребенка голодом до восьми часов! Мало ли что сказала, всякое говорится. Только Жоржу голодать до восьми вредно. Счастье, что за ребенком не только мать смотрит. Она-то не очень о нем заботится. Да, уж нечего сказать, хороша мать! Глаза бы мои на нее не глядели!

Паран, дрожа от страха, почувствовал, что надо сразу пресечь опасную сцену.

– Жюли, – сказал он, – запрещаю тебе так говорить о хозяйке! Надеюсь, ты поняла? Не забывай этого впредь.

Старая нянька, чуть не задохнувшись от изумления, повернулась и вышла, так сильно хлопнув дверью, что на люстре зазвенели все подвески. В течение нескольких секунд в безмолвной гостиной как бы стоял легкий, неуловимый перезвон невидимых колокольчиков.

Жорж сначала испугался, потом радостно захлопал в ладоши и, надув щеки, изо всех сил крикнул: «Бух!», – подражая стуку двери.

Тогда отец стал рассказывать ему сказки, но то и дело терял нить повествования, потому что был удручен своими мыслями, и мальчик не понимал и удивленно тарашил глазенки.

Паран не спускал взгляда с часов. Ему казалось, что он видит, как двигается стрелка. Ему хотелось остановить время, задержать его бег до прихода жены. Он не сердился на Анриетту за опоздание. Но он боялся, боялся ее и Жюли, боялся всего, что могло случиться. Еще десять минут – и грозит произойти непоправимое несчастье, бурная сцена с такими объяснениями, о которых ему даже думать было страшно. При одной мысли о ссоре,

громких криках, обидных словах, будто пули, прорезающих воздух, об этих двух женщинах, стоящих лицом к лицу, впивающихся друг в друга взглядом, бросающих оскорбления, у него замирало сердце, во рту пересохло, как при ходьбе на жгучем солнце. Он весь обмяк, словно тряпка, до того обмяк, что не имел больше сил приподнять сынишку и покачать его на ноге.

Пробило восемь; дверь открылась снова, и снова вошла Жюли. Теперь у нее вид был уже не раздраженный, а решительный и злой, что внушало еще большие опасения.

– Барин, – сказала она, – я служила вашей матушке до самой ее смерти, за вами ходила со дня рождения и до нынешнего дня! Думаю, можно сказать, что я предана вашей семье...

Она ждала ответа.

Паран пробормотал:

– Ну, конечно, Жюли, голубушка.

Она продолжала:

– Сами знаете, на деньги я никогда не льстилась, а всегда берегла ваше добро; никогда я вас не обманывала, никогда вам не врал, вам нечем меня попрекнуть.

– Ну, конечно, Жюли, голубушка.

– Так вот, барин, дольше я терпеть не могу. Только из любви к вам я молчала, боялась вам глаза раскрыть. Но теперь довольно. Весь квартал над вами смеется. Конечно, это ваше дело, но только это все знают. Видно, придется мне все рассказать вам, хоть и не охотница я до сплетен. Барыня потому приходит домой, когда ей вздумается, что она нехорошими делами занимается.

Он растерялся, не понимал и мог только пролепетать:

– Замолчи... Ведь я тебе запретил...

Она оборвала его на полуслове с непреодолимой решительностью:

– Нет, барин, теперь я вам все выложу. Уже давно барыня согрешила с господином Лимузенем. Я сама раз двадцать видела, как они целовались за дверьми. Уж поверьте, будь господин Лимузен богат, барыня не вышла бы замуж за господина Парана. Вы только вспомните, как ваша свадьба сладилась, и сразу вам все станет ясно, как на ладони...

Паран встал. Он был бледен и лепетал:

– Замолчи... замолчи... Не то...

Она продолжала:

– Нет, я вам все выложу. Барыня вышла за вас из расчета и с первого же дня изменяла вам. Между ними уговор был! Надо только подумать немножко, и все станет понятно. Барыня злилась, что вышла за вас не по любви, вот она и стала портить вам жизнь, да так портить, что у меня сердце кровью обливалось. Я-то все видела...

Он сделал два шага, сжав кулаки, повторяя:

– Замолчи... Замолчи...

Он не находил другого ответа.

Старая нянька не отступала; казалось, она решилась на все.

Но тут Жорж, сначала растерявшийся, потом перепуганный сердитыми голосами, пронзительно закричал. Он стоял позади отца и, сморщившись, открыв рот, громко ревел.

Вопли сына вывели из себя Парана, придали ему смелости и разъярили его. Он ринулся на Жюли с поднятыми кулаками.

– Подлая, – крикнул он, – ты ребенка перепугаешь!

Он уже готов был ее ударить. Тогда она бросила ему в лицо:

– Бейте, если вам угодно, бейте меня, хоть я вас и вынянчила; только этим делу не поможешь, жена вас обманывает, и сын у нее не от вас!..

Он сразу остановился, уронил руки и стоял перед ней, оторопев, ничего не понимая. А она добавила:

– Достаточно посмотреть на мальчика, чтобы признать отца, ей-богу! Вылитый портрет господина Лимузена. Стоит только на глаза и лоб посмотреть. Слепому, и тому ясно.

Но он схватил ее за плечи и принялся трясти изо всех сил, крича:

– Змея... Змея! Вон отсюда, змея!.. Убирайся, или убью!.. Вон, вон отсюда!..

И отчаянным усилием он вытолкнул ее в соседнюю комнату. Она повалилась на стол, уже накрытый, стаканы упали и разбились; поднявшись, она загородилась от него столом и, пока он гонялся за ней, стараясь ее схватить, выкрикивала ужасные слова:

– Вы, барин, только уйдите из дому... сегодня вечером... после обеда... И вернитесь невзначай... Вот тогда увидите... Увидите,

правду я говорила или врала... Вы, барин, только попробуйте... и увидите.

Она очутилась на пороге кухни и скрылась за дверью. Он погнался за ней, взбежал по черной лестнице до комнаты для прислуги, где она заперлась, и крикнул, стуча в дверь:

– Сейчас же уходи вон из дому!

Она ответила из-за двери:

– Можете быть спокойны. Через час меня здесь не будет.

Тогда он медленно сошел вниз, цепляясь за перила, чтобы не упасть, и вернулся в гостиную, где Жорж сидел на полу и плакал.

Паран опустился в кресло и тупым взглядом посмотрел на ребенка. Он уже ничего не понимал, ничего не знал; он был оглушен, подавлен, ошеломлен, словно его ударили по голове; он с трудом вспоминал то страшное, что рассказала ему нянька. Потом мало-помалу рассудок его успокоился и прояснился, словно взбаламученная вода, чудовищное разоблачение стало грызть его сердце.

Жюли говорила так определенно, так убедительно, так уверенно, так искренне, что он не сомневался в ее правдивости. Но он упорно не хотел верить в ее проницательность. Она могла ошибаться, ослепленная преданностью ему, подстрекаемая бессознательной ненавистью к Анриетте. Однако, по мере того как он старался успокоить и убедить себя, в памяти вставали тысячи ничтожных фактов: слова жены, взгляды Лимузена, масса неосознанных, почти незамеченных мелочей, поздние отлучки из дому, одновременное отсутствие обоих сразу, даже жесты, как будто совсем незначительные, но странные, – он тогда не сумел их подметить, не сумел понять, а теперь они казались ему чрезвычайно значительными, свидетельствовали о каком-то сообщничестве. Все, что было после их помолвки, вдруг всплыло в его памяти, возбужденной и встревоженной. Он восстановил все: и необычные интонации и подозрительные позы; жалкому, потрясенному сомнениями рассудку этого мирного и доброго человека теперь представлялось уже достоверностью то, что пока еще могло быть только подозрением.

С яростным упорством пересматривал он все пять лет своей

брачной жизни, стараясь вспомнить все, месяц за месяцем, день за днем; и всякая тревожная подробность вбивалась ему в сердце, как осиное жало.

Он позабыл о Жорже, который замолк, сидя на ковре. Но мальчик, видя, что им никто не занимается, снова захныкал.

Отец бросился к нему, схватил на руки и покрыл поцелуями его голову. У него остался ребенок! Какое значение имело все остальное? Он держал своего ребенка, прижимал к себе, целовал его белокурые волосы, бормотал, успокоенный, утешенный: «Жорж... сынок мой, дорогой мой сынок...» Но вдруг он вспомнил, что сказала Жюли! Она сказала, что ребенок был от Лимузена... Нет, это невозможно! Нет, он никогда этому не поверит, ни на минуту не усомнится. Это подлая клевета, взлелеянная мелкой душонкой прислуги! Он повторил: «Жорж... Дорогой мой сынок!» Отцовская ласка успокоила мальчика.

Паран чувствовал, как тепло маленького тельца через платье проникает к нему в грудь. Нежное детское тепло переполняло его любовью, решимостью, радостью; оно согревало, укрепляло, спасало его.

Он чуточку отстранил от себя хорошенькую курчавую головку и с горячей любовью «посмотрел на мальчика. Жадно, в самозабвении любовался он им и все повторял: «Сынок, мой милый сынок, Жорж!...»

И вдруг он подумал: «А что, если он похож на Лимузена!...» Он ощутил что-то странное, что-то ужасное, резкий холод во всем теле, во всех членах, словно кости в нем вдруг оледенели. О, если он похож на Лимузена! И Паран смотрел на Жоржа, совсем уже повеселевшего. Смотрел на него растерянным, затуманенным, обезумевшим взглядом и искал в линиях лба, носа, губ и щек что-нибудь, напоминающее лоб, нос, губы или щеки Лимузена.

Мысли его путались, как в припадке безумия, и лицо его ребенка менялось у него на глазах, приобретало странное выражение, неправдоподобное сходство.

Жюли сказала: «Слепому, и тому ясно». Значит, было что-то разительно, бесспорно похожее! Но что? Может быть, лоб? Возможно... Но у Лимузена лоб более узкий! Тогда рот? Но Лимузен носит бороду! Как усмотреть сходство между пухлым детским

подбородком и щетинистым подбородком мужчины?

Паран думал: «Я не понимаю, больше ничего не понимаю; я слишком взволнован; сейчас я ни в чем не разберусь... Надо повременить; посмотрю на него повнимательнее завтра утром, как только встану».

Потом у него мелькнула мысль: «Ну, а что, если он похож на меня? Ведь тогда я спасен, спасен!»

Он мигом очутился на другом конце гостиной и остановился перед зеркалом, чтобы сравнить лицо сына со своим.

Он держал Жоржа на руках так, чтобы лица их были рядом, и в смятении разговаривал вслух сам с собой: «Да, нос тот же... Нос тот же... Да, пожалуй... Нет, я не уверен... И взгляд у нас тот же. Да нет же, у него глаза голубые... Значит... О! Господи боже мой!.. Господи боже мой!.. Я с ума сойду... Не могу больше смотреть... С ума сойду...»

И он убежал подальше от зеркала, в противоположный угол гостиной, упал в кресло, посадил мальчика на другое и заплакал. Он плакал, тяжело, безутешно всхлипывая. Жорж услышал, как рыдает отец, и сам заревел с испугу.

Зазвонил звонок. Паран вскочил, как ужаленный, и пробормотал: «Это она... Что мне делать?..» Он побежал к себе в спальню и заперся там, чтобы успеть хотя бы глаза вытереть.

Но через минуту он опять вздрогнул от нового звонка; тут он вспомнил, что Жюли ушла, не предупредив горничную. Значит, дверь открыть некому. Что делать? Он пошел сам.

И вдруг он почувствовал смелость, решимость, способность скрывать и бороться. От пережитого им ужасного потрясения он стал зрелым человеком за несколько минут. А потом он хотел знать, хотел страстно, настойчиво, как умеют хотеть люди робкие и добродушные, когда их выведут из себя.

И все же он дрожал! От страха? Да... Может быть, он все еще боялся ее? Кто знает, сколько отчаявшейся трусости таится порою в отваге?

Он на цыпочках подкрался к двери и остановился, прислушался. Сердце его страшно колотилось. Он слышал только глухие удары у себя в груди да тоненький голосок Жоржа, все еще плакавшего в гостиной.

Вдруг над самой его головой раздался звонок, и он весь затрясся, как от взрыва; теперь он наконец нащупал замок, задыхаясь, изнемогая, повернул ключ и распахнул дверь.

Жена и Лимузен стояли перед ним на площадке.

Она сказала с удивлением, в котором сквозила легкая досада:

– Ты уж и двери сам открываешь. А Жюли где?

Ему сдавило горло, он часто дышал, силился ответить и не мог произнести ни слова. Она продолжала:

– Ты что, онемел? Я спрашиваю, где Жюли?

Тогда он пролепетал:

– Она... она... она ушла...

Жена начала сердиться:

– Как ушла? Куда? Зачем?

Он понемногу оправился и почувствовал, как в нем накапливается острая ненависть к наглой женщине, стоящей перед ним.

– Да, ушла, ушла совсем... Я ее рассчитал...

– Ты ее рассчитал?... Рассчитал Жюли?... Да ты в уме ли?

– Да, рассчитал, потому что она надерзила и потому... потому, что она обидела ребенка.

– Жюли?

– Да... Жюли.

– Из-за чего она надерзила?

– Из-за тебя.

– Из-за меня?

– Да... Потому что обед перестоялся, а тебя не было дома.

– Что она наговорила?

– Наговорила... всяких гадостей по твоему адресу. Я не должен был, не мог слушать...

– Каких гадостей?

– Не стоит повторять.

– Я хочу знать!

– Она сказала, что такой человек, как я, на свою беду, женился на такой женщине, как ты, неаккуратной, ветреной, неряхе, плохой хозяйке, плохой матери и плохой жене.

Молодая женщина вошла в переднюю вместе с Лимузеном, который молчал, озадаченный неожиданной сценой. Она захлопнула дверь, бросила пальто на стул и, наступая на мужа, раздраженно

повторила:

– Ты говоришь... ты говоришь... что я?..

Он был очень бледен, но очень спокоен. Он ответил:

– Я, милочка, ничего не говорю; я только повторяю слова Жюли, ты ведь хотела их знать; и позволь тебе заметить, что за эти самые слова я и выгнал ее.

Она дрожала от безумного желания вцепиться ему в бороду, исцарапать ногтями щеки. В его голосе, в тоне, во всем поведении она уловила явный протест, но ничего не могла возразить и старалась взять инициативу в свои руки, уязвить его каким-нибудь жестоким и обидным словом.

– Ты обедал? – сказала она.

– Нет, я ждал тебя.

Она нетерпеливо пожала плечами.

– Глупо ждать после полонимы восьмого. Ты должен был понять, что меня задержали, что у меня были дела в разных концах города.

Потом ей вдруг показалось необходимым, объяснить, куда она потратила столько времени. Пренебрежительно, в нескольких словах рассказала она, что выбирала кое-что из обстановки, очень, очень далеко от дома, на улице Рэн, что, возвращаясь, уже в восьмом часу, встретила на бульваре Сен-Жермен г-на Лимузена и попросила его зайти с ней в ресторан перекусить, – одна она не решалась, хотя и умирала с голоду. Таким образом, они с Лимузеном пообедали, хотя вряд ли это можно назвать обедом – чашка бульона и по куску цыпленка, – так как очень торопились домой.

Паран просто ответил:

– Отлично сделала. Я тебя не упрекаю.

Тут Лимузен, до тех пор молчавший и державшийся позади Анриетты, подошел и протянул руку, пробормотав:

– Как поживаешь?

Паран взял протянутую руку и вяло пожал ее.

– Спасибо, хорошо.

Но молодая женщина прицепилась к одному слову в последней фразе мужа.

– Не упрекаешь... При чем тут упреки?.. Можно подумать, будто ты

хочешь на что-то намекнуть.

Он стал оправдываться:

– Да совсем нет. Я просто хотел сказать, что не беспокоился и нисколько не виню тебя за опоздание.

Она решила разыграть обиженную и сказала, ища предлога для ссоры:

– За опоздание? Право, можно подумать, что уже бог знает как поздно и что я где-то пропадаю по ночам.

– Да нет же, милочка. Я сказал «опоздание», потому что не подыскал другого слова. Ты хотела вернуться в половине седьмого, а вернулась в половине девятого. Это и есть опоздание! Я все отлично понял; я... я... я даже не удивляюсь... Но... но... я не знаю... какое другое слово придумать.

– Ты произносишь его так, словно я по ночам дома не бываю.

– Да нет же... нет.

Она поняла, что его не вывести из себя, и уже пошла было в спальню, но вдруг услышала рев Жоржа и встревожилась:

– Что с мальчиком?

– Я же тебе сказал, что Жюли его обидела.

– Что эта дрянь ему сделала?

– Да пустяки, она его толкнула, и он упал.

Она решила сама взглянуть на сына и торопливо вошла в столовую, но остановилась при виде залитого вином стола, разбитых графинов и стаканов, опрокинутых солонок.

– Что за разгром?

– Это Жюли, она...

Но она резко оборвала его:

– В конце концов, это уж слишком! Жюли объявляет, что я потеряла всякий стыд, бьет моего ребенка, колотит мою посуду, переворачивает все в доме вверх дном, а тебе кажется, что так и надо.

– Да нет же... ведь я ее рассчитал.

– Скажите!.. Рассчитал!.. Да ее арестовать надо было. В таких случаях вызывают полицию.

Он промямлил:

– Но, милочка... да как же я мог... на каком основании? Право же, невозможно...

Она пожала плечами с безграничным презрением.

– Знаешь, что я тебе скажу: тряпка ты, тряпка, ничтожный, жалкий человек, безвольный, бессильный, беспомощный! Уж, верно, приятных вещей наговорила твоя Жюли, раз ты посмел ее выгнать. Хотелось бы мне на это взглянуть, хоть одним глазком взглянуть.

Открыв дверь в гостиную, она подбежала к Жоржу, взяла его на руки, обняла, поцеловала.

– Что с тобой, котик, что с тобой, голубчик мой, цыпоська моя? Оттого, что мать приласкала его, он успокоился. Она повторила: – Что с тобой?

Он ответил, все перепутав с испугу:

– Жюли папу побила.

Анриетта оглянулась на мужа сначала в недоумении, затем ее глаза заискрились безудержным весельем, нежные щеки дрогнули, верхняя губа приподнялась, ноздри расширились, и громкий смех, серебристый и звонкий, волной радости, как птичья трель, полился из ее уст. Слова, которые она повторяла, взвизгивая, сверкая злым оскалом зубов, так и впивались в сердце Парана:

– Ха... ха... ха! По... по... побила тебя... ха... ха... как смешно... как смешно. Лимузен, слышите, Жюли его побила... побила... Жюли побила моего мужа... ха-ха-ха... как смешно!..

Паран пробормотал:

– Да нет же... нет... неправда... неправда. Совсем наоборот, это я вытолкнул ее в столовую, да так, что она опрокинула стол. Мальчик спутал, это я ее побил!

Анриетта сказала сыну:

– Повтори, цыпоська, Жюли побила папу?

Он ответил:

– Да, Жюли побила.

Но, внезапно вспомнив о другом, она сказала:

– Да ведь мальчик не обедал? Ты не кушал, мой миленький?

– Нет, мама.

Тогда она накинулась на мужа:

– Да ты что, рехнулся, совсем рехнулся? Половина девятого, а Жорж не обедал!

Он стал оправдываться, сбитый с толку этой сценой, этими

объяснениями, подавленный крушением всей своей жизни.

– Но, милочка, мы тебя дожидались. Я не хотел обедать; без тебя. Ведь ты всегда опаздываешь, я и думал, что ты вернешься с минуты на минуту.

Она швырнула на стул шляпу, которую до сих пор не сняла, и сказала возмущенным тоном:

– Просто невыносимо иметь дело с людьми, которые ничего не понимают, не догадываются, как поступить, ни до чего не доходят своим умом! Ну, а если бы я в двенадцать ночи вернулась, так ребенок и остался бы ненакормленным? Точно ты не мог понять, что, раз я не вернулась к половине восьмого, значит, у меня дела, что-то мне помешало, меня задержали!..

Паран дрожал, чувствуя, как его одолевает гнев; но тут вмешался Лимузен, обратившись к молодой женщине:

– Вы не правы, мой друг. Где же было Парану догадаться, что вы так запоздаете, если обычно с вами этого не случается. А потом, как же вы хотите, чтобы он один со всем справился? Ведь он выгнал Жюли!

Но Анриетта с раздражением ответила:

– Справляться ему так или иначе придется, я помогать не буду. Пусть выпутывается, как хочет!

И она ушла к себе в спальню, уже позабыв, что сын ничего не ел.

Тогда Лимузен бросился помогать своему приятелю. Он просто из кожи лез – подобрал и вынес осколки, покрывавшие стол, расставил приборы и усадил ребенка на высокий стульчик, пока Паран сходил за горничной и велел ей подавать. Та пришла удивленная: она работала в детской и ничего не слышала.

Она принесла суп, пережаренную баранину, картофельное пюре.

Паран сел рядом с сыном, в полном смятении, не в силах собраться с мыслями после постигшей его беды. Он кормил ребенка и сам пытался есть, резал мясо, жевал, но глотал его с трудом, словно горло у него было сдавлено.

И вот мало-помалу в его душе возникло безумное желание взглянуть на Лимузена, сидевшего напротив и катавшего хлебные шарики. Ему хотелось посмотреть, похож ли тот на Жоржа. Но он не смел поднять глаз. Наконец он решился и вдруг пристально

посмотрел на это лицо, которое хорошо знал, но тут как будто увидел впервые, настолько оно показалось ему иным, чем он ожидал. Он ежеминутно украдкой взглядывал на это лицо, стараясь вникнуть в малейшую морщинку, в малейшую черточку, в малейший оттенок выражения, потом переводил взгляд на сына, делая вид, будто уговаривает его кушать.

Два слова звенели у него в ушах: «Его отец! его отец! его отец!» Они стучали у него в висках при каждом биении сердца. Да, этот человек, этот спокойный человек, сидевший на другой стороне стола, – быть может, отец его сына, Жоржа, его маленького Жоржа. Паран бросил есть, он больше не мог. Все внутри у него разрывалось от невыносимой боли, той боли, от которой люди воют, катаются по земле, кусают стулья. Ему захотелось взять нож и проткнуть себе живот. Это прекратило бы его страдания, спасло бы его: тогда наступил бы конец всему.

Как может он жить дальше? Как может жить, вставать утром, сидеть за обедом, ходить по улицам, ложиться вечером и спать ночью, раз его непрестанно будет точить одна мысль: «Лимузен – отец Жоржа!..»? Нет, у него не хватит сил сделать хоть шаг, не хватит сил одеваться, о чем-то думать, с кем-то говорить! Ежедневно, ежечасно, ежеминутно он будет задавать себе тот же вопрос, будет стараться узнать, отгадать, раскрыть эту ужасную тайну. И всякий раз, глядя на своего мальчика, на своего дорогого мальчика, он будет страдать от ужасных мук сомнения, его сердце будет обливаться кровью, душу истерзают нечеловеческие пытки. Ему придется жить здесь, оставаться в этом доме, рядом с ребенком, и он будет и любить и ненавидеть его! Да, в конце концов он его непременно возненавидит. Какая пытка! О, если бы твердо знать, что Лимузен – его отец; может быть, тогда ему удастся успокоиться, смириться в своей горе, в своей боли. Но не знать – вот что нестерпимо!

Не знать, вечно допытываться, вечно страдать, целовать этого ребенка, чужого ребенка, гулять с ним по улице, носить на руках, чувствовать на губах нежное прикосновение его мягких волосиков, обожать его и непрестанно думать: «Может быть, это не мой ребенок?» Лучше не видеть его, покинуть, бросить на улице или самому убежать далеко, так далеко, чтобы ни о чем

больше не слышать, не слышать никогда!

Он вздрогнул, услышав, как скрипнула дверь. Вошла жена.

– Я голодна, – сказала она, – а вы, Лимузен?

Лимузен, помедлив, ответил:

– Правду сказать, я тоже.

И она приказала снова подать баранину.

Паран задавал себе вопрос: «Обедали они или нет? Может быть, их задержало любовное свидание?»

Теперь оба они ели с большим аппетитом, Анриетта спокойно смеялась и шутила. Муж следил и за ней, бросал быстрые взгляды и сейчас же отводил глаза. На ней был розовый капот, отделанный белым кружевом; ее белокурая головка, свежая шея, полные руки выступали из этой кокетливой душистой одежды, словно из раковины обрызганной пеной. Что делали они целый день, она и этот мужчина? Паран представлял себе их в объятиях друг друга, шепчущих страстные слова! Как мог он ничего не узнать, не отгадать правды, видя их вот так, рядом, напротив себя?

Как, должно быть, они смеялись над ним, если с первого дня обманывали его! Мыслимо ли измываться так над человеком, порядочным человеком, только за то, что отец оставил ему кое-какие деньги! Почему нельзя прочесть в душах, что там творится; как это возможно, чтобы ничто не раскрыло чистому сердцем обман вероломных сердец; как возможно тем же голосом и лгать и говорить слова любви; как возможно, чтобы предательский взор ничем не отличался от честного взора?

Он следил за ними, подкарауливал жесты, слова, интонации. Вдруг он подумал: «Сегодня вечером я их поймаю». И сказал:

– Милочка, я рассчитал Жюли, значит, надо сегодня же подыскать новую прислугу. Пойду сейчас же, чтобы найти кого-нибудь уже на завтра, с утра. Может быть, я немного задержусь.

Она ответила:

– Ступай, я уже никуда не уйду. Лимузен посидит со мной. Мы подождем тебя.

Затем она сказала, обращаясь к горничной:

– Уложите спать Жоржа, потом уберете со стола и можете идти.

Паран встал. Он еле держался на ногах, голова кружилась, он

шатался. Он пробормотал: «До свидания» – и вышел, держась за стену, так как пол уплывал у него из-под ног.

Горничная унесла Жоржа. Анриетта и Лимузен перешли в гостиную. Как только закрылась дверь, он сказал:

– Ты с ума сошла, зачем ты изводишь мужа?

Она обернулась:

– Ах, знаешь, мне начинает надоедать, что с некоторых пор у тебя появилась манера изображать Парана каким-то мучеником.

Лимузен сел в кресло и, положив ногу на ногу, сказал:

– Я совершенно не изображаю его мучеником, но считаю, что в нашем положении нелепо с утра до вечера делать все наперекор твоему мужу.

Она взяла с камина папироску, закурила и ответила:

– Я совсем не делаю ему все наперекор, просто он раздражает меня своей глупостью... Как он того заслуживает, так я с ним и обращаюсь.

Лимузен перебил нетерпеливым тоном:

– Нелепо так себя вести! Впрочем, женщины все на один лад. Да что же это такое! Отличный человек, добрый и доверчивый до глупости, ни в чем нас не стесняет, ни одной минуты не подозревает, дает нам полную свободу, оставляет в покое, а ты так и стараешься взбесить его и испортить нам жизнь!

Она повернулась к нему.

– Слушай, ты мне надоел! Ты трус, как и все мужчины. Ты боишься этого кретина!

Он в ярости вскочил.

– Хотел бы я знать, чем он тебе досадил и за что ты на него сердишься? Что, он тебя тиранит? Бьет? Обманывает? Нет, это в конце концов невыносимо! Заставлять так страдать человека только за то, что он чересчур добр, и злиться на него только за то, что сама ему изменяешь.

Она подошла к Лимузену и, глядя ему в глаза сказала:

– И ты меня упрекаешь в том, что я ему изменяю? ты? ты? ты? Ну и подлая же у тебя душа после этого!

Он стал оправдываться, несколько пристыженный:

– Да я тебя ни в чем не упрекаю, дорогая, а только прошу тебя немножко бережнее обращаться с мужем, ведь нам обоим важно не

возбуждать его подозрений. Мне кажется, следовало бы это понимать.

Они стояли совсем рядом, он – высокий брюнет с бакенбардами несколько развязный, какими бывают мужчины, довольные своей наружностью; она – миниатюрная, розовая и белокурая, типичная парижанка, полукокотка, полумещаночка, с малых лет привыкшая стрелять глазами в прохожих с порога магазина, где она выросла, и выскочившая замуж за случайно увлеченного ею простодушного фланера, который влюбился в нее, видя ее ежедневно все там же, у дверей лавки, и утром, когда он выходил из дому, и вечером, когда возвращался.

Она говорила:

– Глупый, неужели ты не понимаешь, что ненавижу я его как раз за то, что он на мне женился, за то, что он меня купил; наконец, все, что он говорит, все, что делает, что думает, действует мне на нервы. Ежеминутно он раздражает меня своей глупостью, которую ты называешь добротой, своей недогадливостью, которую ты называешь доверчивостью, а главным образом тем, что он мой муж, он, а не ты! Я чувствую, что он стоит между нами, хотя он нас совсем не стесняет. И потом... потом... надо быть полным идиотом, чтобы ничего не подозревать! Лучше бы уж он ревновал. Бывают минуты, когда мне хочется ему крикнуть: «Осел, да неужели же ты ничего не видишь, неужели не понимаешь, что Поль мой любовник!»

Лимузен расхохотался.

– Но пока что тебе лучше молчать и не нарушать нашего мирного существования.

– О, будь спокоен, не нарушу. С таким дураком бояться нечего. Нет, просто поверить не могу, что ты не понимаешь, как он мне противен, как он меня раздражает! У тебя всегда такой вид, будто ты его любишь, ты ему всегда искренне жмешь руку. Мужчины – странный народ.

– Дорогая моя, надо же уметь притворяться.

– Дело, дорогой мой, не в притворстве, а в чувстве. Вы, мужчины, обманываете друга и как будто от этого еще сильнее его любите; а нам, женщинам, муж делается ненавистен с той минуты, как мы его обманем.

– Не понимаю, чего ради ненавидеть хорошего человека, у которого отнимаешь жену?!

– Тебе не понятно? Не понятно? Вам всем не хватает чуткости! Что делать! Есть вещи, которые чувствуешь, а растолковать не можешь. Да и не к чему... Ну, да тебе все равно не понять. Нет в вас, в мужчинах, тонкости...

И, улыбаясь ему чуть презрительной улыбкой развращенной женщины, она положила ему на плечи обе руки и протянула губы; он склонил к ней голову, сжал ее в объятиях, и губы их слились. И так как они стояли у камина перед зеркалом, другая, совершенно такая же чета поцеловалась в зеркале за часами.

Они ничего не слышали: ни звука ключа, ни скрипа двери; но вдруг Анриетта пронзительно вскрикнула, обеими руками оттолкнула Лимузена, и они увидели Парана, разутого, в надвинутой на лоб шляпе; он смотрел на них, бледный, сжимая кулаки.

Он смотрел на них, быстро переводя взгляд с нее на него и не поворачивая головы. Он казался сумасшедшим. Затем, не говоря ни слова, он набросился на Лимузена, сгреб его, стиснул, будто хотел задушить, рванул что было мочи, и тот, потеряв равновесие, размахивая руками, отлетел в угол и ударился лбом о стену.

Но Анриетта, поняв, что муж убьет любовника, бросилась на Парана, вонзила ему в шею все свои десять тоненьких розовых пальчиков и сжала ему горло с отчаянной силой обезумевшей женщины, так что кровь брызнула у нее из-под ногтей. Она кусала его в плечо, словно хотела в клочья разорвать его зубами. Задыхаясь, изнемогая, Паран выпустил Лимузена, чтобы стряхнуть жену, вцепившуюся ему в шею, и, схватив ее за талию, отбросил на другой конец гостиной.

Потом он остановился между ними обоими, отдуваясь, обессилив, не зная, что делать, так как был вспыльчив, но отходчив, подобно всем добрякам, и быстро выдыхался, подобно всем слабым людям. Его животная ярость нашла выход в этом порыве – так вырывается пена из откупоренной бутылки шампанского, – и непривычное для него напряжение разрядилось одышкой. Как только к нему вернулся дар речи, он пробормотал:

– Убирайтесь... убирайтесь оба... Убирайтесь сейчас же...

Лимузен стоял в углу, точно прилипнув к стене, ничего не понимая, так он был озадачен, боясь пошевелить пальцем, так он был перепуган; Анриетта, растрепанная, в расстегнутом лифе, с обнаженной грудью, оперлась обеими руками на столик, вытянула шею, насторожившись, как зверь, приготовившийся к прыжку.

Паран повторил громче:

– Сейчас же убирайтесь вон... Сейчас же!

Видя, что первая вспышка улеглась, жена осмелела, выпрямилась, шагнула к нему и сказала уже наглым тоном:

– Ошалел ты, что ли? Какая муха тебя укусила!.. Что за безобразная выходка?..

Он обернулся к ней, занес руку, чтобы ее ударить, и выкрикнул, заикаясь:

– О... о... это... это... уж слишком! Я... я... я... все слышал... все... все!.. Понимаешь... все! Подлая!.. подлая!.. Оба вы подлые... убирайтесь!.. Оба... сейчас же... Убью!.. Убирайтесь!..

Она поняла, что все кончено, что он знает, что ей не выгородить себя и надо покориться. К ней вернулась ее обычная наглость, а ненависть к этому человеку, дошедшая теперь до предела, подстрекала ее к дерзким выпадам, порождала желание держать себя вызывающе, бравировать своим положением.

Она сказала звонким голосом;

– Идите, Лимузен. Раз меня гонят, пойду к вам.

Но Лимузен не тронулся с места. Паран в новом порыве гнева закричал:

– Да убирайтесь же!.. убирайтесь! Подлые... Не то..! не то...

Он схватил стул и стал вертеть им над головой.

Тогда Анриетта быстро перебежала гостиную, взяла любовника под руку, оторвала его от стены, к которой он будто прирос, и потащила к двери, повторяя:

– Идите, мой дорогой, идите... Вы же видите, что это сумасшедший... Идите!

Уже выходя, она оглянулась на мужа, придумывая, чем бы ему еще досадить, что бы еще изобрести такое, что ранило бы его в самое сердце прежде, чем покинуть его дом. И вдруг ей пришла мысль, ядовитая, смертоносная мысль, порожденная женским

коварством.

Она сказала решительным тоном:

– Я хочу забрать моего ребенка.

Ошеломленный Паран пролепетал.

– Твоего... твоего... ребенка? Ты смеешь говорить о твоём ребенке?.. Ты смеешь... смеешь требовать твоего ребенка... после... после всего... О, о, это уж слишком! Ты смеешь?.. Убирайся вон, мерзавка, убирайся вон!..

Она подошла к нему вплотную, улыбаясь, чувствуя себя уже почти отомщенной, и прямо в лицо ему вызывающе крикнула:

– Я хочу забрать моего ребенка, и ты не имеешь права не дать мне его, потому что он не от тебя... понимаешь, понимаешь... Он не от тебя.. Он от Лимузена...

Паран в отчаянии выкрикнул:

– Лжешь... лжешь... подлая!

Но она не унималась:

– Дурак! Все это знают, только ты не знаешь. Говорю тебе: вот его отец. Достаточно посмотреть...

Паран, шатаясь, отступал перед ней. Потом он вдруг обернулся, схватил свечку и бросился в соседнюю комнату.

Вернулся он почти тут же, неся на руках Жоржа, завернутого в одеяла. Внезапно разбуженный, ребенок напугался и плакал. Паран бросил его на руки жене, затем, не прибавив ни слова, грубо вытолкнул ее за дверь на лестницу, где из осторожности дожидался ее Лимузен.

Затем он закрыл дверь, повернул два раза ключ в замке и задвинул засов. Не успел он войти в гостиную, как ничком повалился на пол. Neкаýalar